

## ВВОДНАЯ ГЛАВА

Несколько лет тому назад автор в беседе с художником, чьи творения являют собой, быть может, единственный в наши дни пример сочетания совершенного рисунка с великолепием колорита, задал ему вопрос: как легче всего достичь этой желанной цели? Ответ был столь же кратким, сколь и исчерпывающим: «Знайте, что вам нужно делать, — и делайте» — исчерпывающим не только применительно к той области искусства, о какой зашла речь; нет, здесь сформулирован великий принцип успеха во всех областях человеческой деятельности: по моему убеждению, неудача вызывается не столько недостатком способов или торопливостью, сколько неясностью представлений о том, что именно нужно делать, и потому если достойна осмеяния, а порой и порицания, попытка достичь совершенства в той или иной области, в то время как трезвое рассуждение показывает, что имеющимися средствами оно недостижимо, то куда более серьезной ошибкой будет, если мы позволим, чтобы оглядка на средства губила наш замысел или — это тоже случается — мешала нам признавать добро и совершенство как таковые. И это стоит особенно хорошо запомнить, так как человеческого разума и совести, подкрепленных Откровением, всегда достанет на то, чтобы, всерьез постаравшись, различить, что правильно, а что нет; однако ни разум, ни совесть, ни чувство не определяют предел возможного, ибо предназначены они для других целей. Человек не знает ни собственной силы, ни силы своих союзников, а также и того, насколько можно положиться на последних и какого противодействия ждать от противников. Вопрос еще и в том, что суждения человека бывают искажены страстью или ограничены невежеством, однако если то или другое заставит его забыть о долге или истине — в этом будет его собственная вина. Уяснив причины многих неудач, на какие обречены усилия разумных людей — особенно в политической области, я склонен думать, что проистекают они преимущественно именно из названного заблуждения, а не из про-

чих: прежде чем (а иногда и вместо того, чтобы) определить, что является абсолютно желаемым и справедливым, человек берется исследовать сомнительное, а то и необъяснимое соотношение своих возможностей, шансов, препятствий и необходимых усилий. Ничуть не удивительно, что порой слишком хладнокровный расчет наших возможностей слишком легко примиряет нас с нашими недостатками и даже ввергает в роковое заблуждение, заставляя предполагать, что наши намерения и предположения сами по себе достаточно хороши; иными словами, сама неизбежность сомнений делает их самих чем-то несомненным.

То, что справедливо по отношению к человеческому обществу, представляется мне в равной мере приложимым и к Архитектуре как общественному искусству. Я давно уже почувствовал необходимость ради его развития предпринять целенаправленные усилия с тем, чтобы извлечь из беспорядочного множества предвзятых традиций и догм, каковыми оно было обременено за время несовершенной и несвободной практики, основные неоспоримые принципы, применимые к любому периоду и любому стилю. Связывая технические и художественные элементы столь же существенно, как человеческая природа объединяет душу и тело, архитектура обнаруживает не меньшую неуравновешенность — предрасположенность к преобладанию низшего начала над высшим, к вмешательству конструктивного элемента в бесхитростную простоту мысли. С движением времени эта тенденция, подобно всякому другому проявлению материализма, возрастает, противопоставить же ей нечего, кроме критериев, основанных на частных прецедентах, уже утративших уважение ввиду своей обветшалости; если и не отвергаемые как тиранические, они очевидным образом непригодны для новых форм и функций архитектуры, которые диктуются настоящими сегодняшними потребностями. Насколько многочисленными могут стать эти требования, предугадать трудно: необычные и неотступные, они сопровождают сегодня самую робкую попытку к обновлению. Насколько будет возможно им соответствовать, не принося в жертву основополагающие свойства искусства архитектуры, не подскажут ни расчеты, ни традиция. Нет ни закона, ни принципа, опирающегося на опыт прошлого, который не мог бы быть мгновенно опрокинут при возникновении нового условия или изобретения нового материала. Посему наиболее разумный (если не единственный) способ избежать опасности полного исчезновения всего систематического и последовательного в нашей практике

и отказаться от стародавних авторитетов, руководящих нашими суждениями, — это временно забыть о растущем множестве конкретных злоупотреблений, ограничений и требований и попытаться определить в качестве ориентиров для каждого нового предприятия некоторые постоянные, общие и незыблемые законы — законы, каковы, будучи основаны на природе человека, а не на его знаниях, обладали бы неизменностью первой и были бы устойчивы к накоплению или неполноте вторых.

Такие законы, вероятно, присущи не одному только отдельно взятому искусству. Сфера их влияния неизбежно обнимает всю совокупность человеческих дел. Однако они видоизменили формы и способы работы в каждой из ее областей, и размах их власти никоим образом нельзя расценивать как уменьшение их весомости. Некоторые стороны этих законов, принадлежащие первому из искусств, я попытался установить на нижеследующих страницах, и, поскольку, верно изложенные, они непременно должны не только охранять против всевозможных ошибок, но и стать мерилом успеха, я думаю, что не притязаю на слишком многое, именуя их Светочами архитектуры; не виню себя и в лености из-за того, что в попытках установить истинную природу и величие их пламени отказываюсь исследовать те слишком частые, иной раз занятные случаи, когда их свет искажается или пригашается.

Если бы такое исследование было предпринято, наша работа наверняка вызвала бы больше нареканий и, вероятно, многое утратила бы из-за ошибок, которых удастся избежать благодаря теперешней простоте ее плана. Но при всей простоте ее размах слишком велик, и придать ей должную завершенность было бы возможно, лишь посвятив данному труду время, которое автор не считал вправе отнять от изучения тех областей, в которое вовлекли его ранее предпринятые работы. Как распределение материала, так и терминология подчинены скорее соображениям удобства, нежели систематичности; первое — произвольно, вторая — непоследовательна; не претендует автор и на то, что здесь разобраны все — или хотя бы большая часть принципов, необходимых для процветания искусства архитектуры. Тем не менее, как заметит читатель, многие весьма важные принципы будут лишь упомянуты в ходе рассмотрения тех, которым в данном исследовании уделено основное внимание.

Более весомые извинения необходимы за гораздо более серьезный промах. Справедливо говорится, что нет ни одной области че-

ловеческой деятельности, чьи неизменные законы не имели бы тесной аналогии с законами, управляющими любой другой ее сферой. Более того: как только мы упрощаем для ясности и верности какую-то группу этих практических законов, обнаруживается, что они выходят за рамки простой связи или аналогии и становятся реальным выражением основного русла могущественных законов, которые правят нравственным миром. Сколь ничтожным и незначительным ни являлось бы то или иное действие, в хорошем его исполнении имеется некий аспект, ставящий его в один ряд с благороднейшими образцами мужественной добродетели; правда, решительность и сдержанность, каковые мы с благоговением чтим в качестве похвальных особенностей существа духовного, накладывают особый, характерный отпечаток на произведения рук человеческих, на движения его тела и на работу ума.

И если, таким образом, всякое действие — вплоть до начертания простой линии или произнесения одного-единственного слога — может обладать определенным достоинством в манере его совершения, что подчас мы одобряем, говоря, что это сделано правильно (правильна линия или верна интонация), то оно может обладать также достоинством и высшего порядка благодаря побуждению, которым оно вызвано. Не бывает действия столь мелкого и столь несущественного, которое не могло бы быть совершено ради великой цели и тем самым облагорожено; не бывает и цели настолько великой, что даже небольшие деяния не могли бы ей способствовать, а они могут совершаться с громадной для нее пользой, и в особенности если это главнейшая из всех целей — угождение Богу. Вот строки Джорджа Герберта:

Мыть пол за счастье те почтут,  
Кто помнит Твой закон:  
Ведь даже самый черный труд  
Тобою освящен.

Следовательно, предлагая то или иное действие или способ его выполнения и настаивая на нем, мы выбираем из двух способов обоснования: один исходит из необходимости или внутренней ценности работы, зачастую ничтожной и всегда необязательной; другой основывается на ее связи с высшими порядками добродетели, на — если на то пошло — угодности ее Тому, кто есть начало всякого добра. Первый метод убеждает, второй решает; правда, кое-кому он может показаться святотатственным, поскольку прибегает

к столь весомым доводам, трактуя предметы, ценность которых невелика и преходяща. Я полагаю, однако, что нет заблуждения безрассудней подобного. Святотатство мы совершаем в тех случаях, когда изгоняем Господа из своих мыслей, а не тогда, когда ссылаемся на Его волю по мелким поводам. Лишь ограниченную власть и ограниченный разум нельзя тревожить по пустякам. О сколь бы мелком предмете ни шла речь, испрашивать водительства Божьего есть поступок почтительный, а действовать по собственному разумению — непочтительный; а то, что верно относительно Божества, в равной мере верно и относительно Божественного Откровения. Обращаться к Божественному Откровению как можно чаще — вот в чем состоит истинное его почитание; дерзость же, напротив, в том, чтобы действовать помимо него; кто чтит его, тот повсеместно его применяет. Мне ставили в вину фамильярное обращение со священными словами. Печально, если я кому-то причинил этим боль; оправдать себя могу только желанием, чтобы эти слова сделались основанием всякого обсуждения и критерием всякого поступка. Мы слишком редко их произносим, недостаточно хорошо помним, не слишком преданно следуем им в жизни. Снег, туман, буря исполняют Его слово. Неужели наши дела и мысли легковесней и необузданнее стихий — и мы его забываем?

Посему я отважился, рискуя придать некоторым пассажирам видимость непочтительности, сообщить аргументации более высокое направление там, где таковое явно прослеживалось; и — я просил бы читателя особенно принять это во внимание — не только потому, что считаю это лучшим способом достижения конечной истины, и еще менее потому, что полагаю затрагиваемый предмет гораздо более важным, нежели прочие, но потому, что всякий предмет непременно следует рассматривать — в такие времена, как нынешние, — или в подобном духе, или никак. Ближайшее будущее представляется мрачным и полным тайн; бремя зла, против которого мы должны бороться, возрастает, как напор водного потока. Нет времени для праздно-метафизики или развлечения искусстваами. Мирские богохульства звучат все громче, земные беды громоздятся день ото дня; и если в обстановке, когда всякий добродетельный человек изо всех сил старается заглушить кощунства и смягчить невзгоды, уместен будет призыв хоть единую мысль, хоть краткий миг, хоть мановение мизинца посвятить чему-либо иному, кроме самых насущных и тяжких нужд, то тогда нам надлежит, по крайней

мере, подойти к вопросам, которыми мы намерены занять читателя, в том духе, каковой стал привычен для его ума, а также в надежде, что час, потраченный на познание того, как предметы, на первый взгляд бездушные, безразличные или ничтожные, зависят в своем совершенствовании от священных принципов веры, истины и послушания, соблюдать которые он стремился всю свою жизнь, — этот час не уменьшит его усердия и не помешает его делам.

# ГЛАВА I

## Светоч Жертвы

I. Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость.

Крайне необходимо с самого начала провести четкое разграничение между Архитектурой и Строительством.

Строить, то есть буквально — крепить, в общепринятом понимании означает соединить вместе и пригнать друг к другу части какого-либо сооружения или помещения значительного размера. Таковы церкви, жилые дома, экипажи, корабли. То обстоятельство, что одно сооружение стоит на земле, другое плывет по воде, а третье опирается на рессоры, не меняет природы названного искусства — если позволено к таковому причислить строительство. Профессионалы в данной области именуются строителями — храмовыми, судовыми и любыми прочими, в соответствии с избранным ими видом деятельности, однако прочность и устойчивость постройки еще не позволяют отнести ее к архитектуре: простое здание церкви, позволяющее с удобством разместить внутри нее необходимое количество верующих, участвующих в богослужении, столь же далеко отстоит от архитектуры, как и постройка удобного экипажа или способного быстро плыть корабля. Я не хочу сказать, что термин «архитектура» довольно часто — и в некоторых случаях не вполне оправданно — употребляют в таком смысле (например, применительно к кораблестроению), но в подобном толковании архитектура перестает быть разновидностью изящных искусств, а посему предпочтительнее обойтись без слишком широких определений, дабы не впасть в путаницу, которая неизбежно возникнет — и нередко возникала — при распространении принципов, принадлежащих сфере строительства, также и на сферу архитектуры в собственном смысле слова.

Поэтому давайте с самого начала ограничим область применения термина «архитектура» сферой того искусства, которое, допуская и используя требования и методы строительства, накладывает на создаваемые ею вещи свойства и качества быть чем-то прекрасным и достойным почитания, хотя и не являющиеся необходимыми. Никто, полагаю, не причислит к законам архитектуры требования, определяющие высоту бруствера или расположение бастиона. Но если каменный фасад бастиона снабдить неким излишеством наподобие лепного украшения в виде витого орнамента, то в этом мы и должны распознать собственно Архитектуру. Равным образом неосновательно причислять к архитектурным проявлениям зубцы на стенах крепостей, называемые также машикулями, поскольку они представляют собой всего лишь навесную галерею, поддерживаемую выступом с расположенными снизу отверстиями, использующимися в целях обороны и отражения противника. Но если снабдить низ этого выступа скругленной кладкой, что заведомо бесполезно, а вершины выемок сделать арочными, с орнаментом в виде трилистника, что тоже не имеет практического смысла, то это будет уже Архитектура. Не всегда легко провести разграничительную линию столь резко: есть здания, которые обликом или расцветкой не притяжали бы на архитектурные достоинства; не бывает и архитектуры, которая обошлась бы без строительства, а хорошая архитектура непременно предполагает отличное качество строительства; но ничуть не трудно — и совершенно необходимо — разграничить два эти понятия, осознать в полной мере, что понятие Архитектуры применимо только к тем свойствам зданий, которые находятся за пределами очевидной пользы. Я говорю «очевидной»: разумеется, здания, воздвигнутые во славу Господа или в честь героя, служат цели, достойной архитектурного убранства, но не такой цели, которая бы как-то ограничивала общий план или детали сооружения.

II. Итак, Архитектура как таковая естественно подразделяется на пять основных групп:

Культовая, то есть здания, возведенные во славу Господа и предназначенные для богослужений.

Мемориальная, включающая памятники и надгробия.

Гражданская: все государственные и общественные сооружения, предназначенные для обычного делопроизводства или для развлечений.

Военная, включающая в себя все оборонительные сооружения, находящиеся в общественной или частной собственности.

Жилая, включающая в себя все разновидности жилых домов.

Из тех принципов, которые я постараюсь здесь обосновать (хотя все они, как уже сказано, применимы к каждому периоду в развитии и к каждому стилю искусства архитектуры), иные — и в особенности те, что скорее восхищают, нежели служат руководством, — неизбежно теснее связаны с одним типом зданий, чем с другими, и среди таковых принципов на первое место я бы выдвинул тот духовный порыв, который хотя и может влиять на все типы, все же сильнее всего ощущается в мемориальной и культовой архитектуре, духовный порыв, побуждающий привлекать для строительства ценные материалы именно ввиду присущей им ценности, а не по причине их незаменимости — как жертвенное приношение, желанное нам самим. Мне представляется, что названное чувство не только совершенно отсутствует у тех, кто причастен к возведению современных культовых сооружений, но более того: многими из нас оно расценивается в ряду опасных и, возможно, даже крамольных принципов. Недостаток места не позволяет мне вдаваться в обсуждение многочисленных — и зачастую весьма лицемерных контраргументов, однако я надеюсь, что читателю достанет терпения, чтобы позволить мне изложить простые доводы, каковые убеждают меня в том, что названное чувство похвально и справедливо, что оно в той же бесспорной мере угодно Всевышнему и почетно для человека, в какой является необходимым подспорьем при постройке любого сколько-нибудь значительного сооружения, предназначенного для упомянутых нами целей.

III. Дадим, прежде всего, ясное определение тому, что мы называли Светочем, Духовным порывом, Жертвою. Как я уже сказал, это движение души побуждает нас применять в строительстве самые дорогие материалы единственно ввиду присущей им ценности, а не по причине их полезности или незаменимости. Этот духовный порыв заставляет, к примеру, из двух мраморных изделий — равно пригодных, прекрасных и долговечных — выбрать более дорогое именно потому, что оно дорогое; а из двух украшений, одинаково впечатляющих, остановиться на более замысловатом, дабы оно, не уступая иным, являло бы собой нечто более совершенное и изобретательное. Такое отношение к делу может показаться крайне безрассудным энтузиазмом: или, если определить его менее негатив-

но, как противоположное преобладающему в наше время желанию достигать наибольшего результата с минимальными затратами.

Есть две формы жертвы: первая — это самоотречение как путь к достижению внутренней дисциплины, отказ от любимого и дорогого, не требующий взамен никакого отклика; вторая — желание воздать кому-то почести или же снискать благоволение высокой стоимостью принесенной жертвы. В первом случае действие свершается открыто или тайно, но чаще всего — и, вероятно, это совершенно естественно — тайно, тогда как во втором, как правило, на виду и демонстративно. Первоначально призыв к чистому самопожертвованию нам кажется бесполезным, тогда как, по сути, именно такая жертва нужна нам всегда и всюду гораздо больше, чем мы готовы признать и совершать. Однако, как я считаю, именно потому, что мы не думаем о такого рода жертве как о благе самом по себе, нам столь трудно пойти на него и в тех случаях, когда оно настоятельно необходимо; вместо того чтобы радостно ухватиться за представившуюся возможность, мы принимаемся взвешивать, насколько благо, даруемое нами другим, соизмеримо с тяготами для себя. Как бы то ни было, особо вдаваться в эту тему здесь нет нужды: те, кто готов к самопожертвованию, всегда найдут для этого более возвышенные и более плодотворные пути, помимо связанных с искусством.

Что касается второго направления, главным образом связанного с искусствами, оправданность жертвы вызывает еще бóльшие сомнения; здесь она определяется нашим ответом на самый общий вопрос: действительно ли Бог может почитаться преподнесением Ему неких обладающих ценностью материальных предметов или обращенных к Нему рвения и мудрости, каковые не несут непосредственного блага людям?

Речь идет, заметим, не о том, отвечают ли красота и величие здания какой-либо моральной цели, и не о *результате* затраченного на него труда, но просто о высокой стоимости сооружения — воплощенной в материале, усердии и времени как таковых: спросим, являются ли они, вне зависимости от итога, допустимыми подношениями Богу, воспримет ли Он их поистине воздающими Ему славу? Пока мы пытаемся решить этот вопрос, опираясь на чувства, совесть или разум, ответ будет противоречивым или неубедительным; полноценный ответ возможен единственно при увязке с другим, совершенно иным вопросом: составляет Библия одну или

две книги, совпадает ли образ Всевышнего, представленный в Ветхом Завете, с Его образом в Новом Завете?

IV. Самая надежная истина заключается в следующем: хотя отдельные Божественные предписания, определенные свыше для особых надобностей в тот или иной период человеческой истории, могут в другой период той же самой Божественной властью отвергаться, немислимо, чтобы образ Господа, воплощенный в заветах прошлого, при отмене этого предписания мог бы измениться или восприниматься иначе. Бог един и неизменен, угодно или негодно Ему всегда одно и то же, хотя та или иная сторона Его благорасположения в одно время может быть выражена сильнее, нежели в другое, а способ, каким следует Ему угождать, может по Его же милости приспособляться к обстоятельствам смертных. Так, к примеру, было необходимо — для осознания человеком замысла Искупления — изначально упредить его образом кровавого жертвоприношения. Однако во времена Моисея подобное жертвоприношение было угодно Богу ничуть не более, чем ныне; Бог никогда не принимал никакой другой искупительной жертвы, кроме единственной — грядущей; мы не можем питать ни тени сомнения на этот счет: негодность всякой иной жертвы, нежели эта, провозглашена именно тогда, когда требовалась обычная распространеннейшая форма символического жертвоприношения, требовалась самым категорическим образом. Бог — это духовное начало, и почитать Его было возможно только в сфере духа и истины столь же безоговорочно, как в те дни, когда настоятельно предписывалась жертва сугубо традиционная и материальная, так и теперь, когда Он ждет от нас жертвы, приносимой только сердцем.

Наиболее надежный принцип, следовательно, таков: если известные нам обстоятельства, сопровождавшие характер исполнения любого ритуала когда бы то ни было, по рассказам или вследствие обоснованных умозаключений, некогда *угодны* Господу, то же самое будет угодно Ему во все времена, при исполнении всех обрядов, за исключением тех ситуаций, когда позднее выясняется, что ради некоторых целей по Его воле эти обстоятельства должны быть упразднены. Эти доводы обретут еще бóльшую силу, если можно будет продемонстрировать, что подобные условия несущественны с точки зрения их земного смысла, а лишь добавлены к ритуалу, самому по себе угодному Господу.

V. Поставим вопрос: было ли обязательным для левитского жертвоприношения как символа или ради его пригодности в ка-

честве истолкования Божественного промысла, чтобы жертва обладала ценностью для того, кто ее приносил? Напротив, жертва, которую предвещало левитское жертвоприношение, должна была стать свободным даром Богу; и если предмет, в данном случае приносимый в жертву, стоил дорого или являлся редкостью, это отчасти затемняло смысл жертвоприношения, лишало его сходства с приношением, которое Бог дарует всем людям. Однако условием пригодности жертвы была, *как правило*, ее высокая стоимость: «...не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром»\*. Высокая стоимость сделалась, следовательно, желаемым условием для всех людских подношений во все времена; ибо, если она была угодна Господу однажды, она должна быть угодна Ему всегда, если только впоследствии Он не наложит прямого запрета, чего так и не произошло.

С другой стороны, для образцовой полноты левитского жертвоприношения было ли необходимо приносить в жертву лучшего из стада? Безукоризненность жертвы, несомненно, делает ее особенно значительной для христиан; но была ли она столь выразительна именно потому, что такую жертву действительно и в столь многих словах требовал Господь? Вовсе нет. Божественное требование явно опиралось на те же основания, какими руководствовался бы земной повелитель, желая видеть в жертве доказательство уважения к себе. «Поднеси это твоему князю»\*\*. А менее ценное подношение отвергалось не потому, что не символизировало Христа или не отвечало задачам жертвенности, но потому, что указывало на скупость со стороны жертвующего, утаивающего от Всевышнего лучшее из своей собственности, которую Он же и даровал; в глазах людей это выглядело прямой неблагодарностью. Отсюда следует неопровержимый вывод: какого рода приношения мы ни сочли бы резонным посвятить Господу (не уточняя, какие именно), условием их приемлемости ныне, как и прежде, является то, что жертвуется самое лучшее.

VI. Но далее: были ли необходимы для правил обрядности, по Моисею, изощренная искусность и пышность скинии или храма? Были ли необходимы для образцовой полноты того или иного традиционного ритуала голубые, пурпуровые, червлёные драпировки? Медные крючки и серебряные подножия? Отделка из кедрa, по-

---

\* 2 Цар. 24: 24; Втор. 16: 17. — *Примеч. авт.*

\*\* Мал. 1: 8. — *Примеч. авт.*

крытая золотом? Очевидно, по крайней мере, одно: во всем этом таилась огромная и страшная опасность — опасность того, что Бог, столь ими почитаемый, может связаться в умах египетских рабов с теми богами, которым, как они видели, делали сходные подношения и воздавали сходные почести. В наши времена вероятность чувств католика по сравнению с опасностью симпатии, проявленной израильтянином к язычнику-египтянину<sup>1</sup>, ничтожна, однако та опасность вовсе не была гипотетической и недоказанной: она роковым образом воплотилась грехопадением в тот месяц, когда они были предоставлены сами себе реально добровольной изменой в продолжение целого месяца, — уступкой греху самого раболепного идолопоклонства, сопровождавшегося, однако, такими подношениями кумиру, какие их вождь очень скоро повелел посвящать Господу. Эта опасность была неотвратимой, постоянной и самого грозного свойства: именно против нее Бог предостерег не только посредством заповедей, угроз и посулов — настоятельнейших, внушительных и неоднократных, но и через временные предписания, столь ужасные, что они едва ли не затмили в глазах избранного Им народа присущее Богу милосердие. Основополагающий смысл каждого учреждавшегося внутри данной теократии закона, Божьего покровительства, каким пользовалось это государство, сводился к свидетельству о ненависти Всевышнего к идолопоклонству — ненависти, сопровождавшей израильтян на каждом шагу во время их скитаний, написанной кровью хананеев, но еще более суровой во мраке их отчаяния, когда дети и грудные младенцы умирали от голода на улицах Иерусалима, а львы умерщвляли свои жертвы в городах Самарийских\*. И все же предостережение против этой смертельной опасности было облечено не в ту форму, каковая человеческому разумению представлялась бы наиболее простой, естественной и действенной, — то есть изъятием из почитания Божественного Существа всего того, что могло тешить чувства, давать пищу воображению или привязывать идею Божества к определенному месту. Этот путь Бог отверг, требуя для Себя таких почестей и принимая для Себя такое местное обиталище, какие посвящались идолам язычниками. Так как же это можно объяснить? Было ли великолепие скинии необходимо для того, чтобы представить величие Господа и образ Его избранному народу? Как! Нужны ли пурпуровая и червленая шерсть народу, видевшему великую египет-

\* Плач 2: 11; 4 Цар. 17: 25. — *Примеч. авт.*

скую реку алой от крови после наложенного Им проклятия? Как! Разве светильник из золота и золотой херувим необходимы тем, кто видел громы и пламя окутавшими мантией гору Синай, куда был открыт доступ их смертному законодателю? Как! Разве серебряные крючки и связи необходимы тем, кто видел расступившиеся воды Чермного моря, когда влага встала, как стена, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова? Нет — не так.

Обоснование было одним-единственным и непреходящим: поскольку Завет, заключенный Богом с людьми, сопровождался неким внешним знамением как свидетельством его постоянства и постоянства памяти о Нем, то и принятие этого Завета также должно было быть выражено и отмечено со стороны смертных неким внешним обозначением их любви и покорности, знаком подчинения их самих и их воли воле Божией; а их благодарность Творцу и неизменная память о Нем могли бы найти выражение в качестве постоянного доказательства верности не только закланием первородного из скота, не только приношением земных плодов и десятины, но и всех сокровищ мудрости и красоты: мысли плодотворной и руки трудолюбивой, богатства дерева и тяжести камня, прочности железа и сияния золота.

И давайте же отныне не упускать из виду этот всеобщий и неизменный принцип — можно сказать, и не подлежащий отмене до тех пор, пока люди будут получать земные дары из рук Господа. Ото всего, чем они обладают, десятая часть должна посвящаться Ему, дабы не был Он ни в чем забыт: приношения искусства и богатства, силы и ума, времени и труда должны вручаться с благоговением; и если существует некая разница между левитским и христианским жертвоприношением, то состоит она в том, что последнее может быть настолько же шире по охвату, насколько оно менее условно по смыслу, и суть его — благодарность вместо жертвенности. Уклонения со ссылкой на то, что Божество якобы не обитает ныне зримо в Своем храме, неприемлемы: если Бог невидим, то только вследствие упадка нашей веры; нельзя согласиться и с отговорками тех, кто утверждает, будто иные требования более насущны и даже более священны: исполняй и этот долг, и всякий другой тоже. Однако на данное возражение — столь же частое, сколь и шаткое — следует ответить более развернуто.

VII. Сказано — и это следует повторять как истину, — что лучшее и достойнейшее жертвоприношение Господу заключается, скорее, в оказании помощи беднякам, в распространении знаний о Нем,

в следовании добродетелям, освященным Его именем, более, нежели в вещественных дарах Его храмам. Это несомненно так: горе тем, кто помыслит, будто теми или иными видами и способами приношений можно заместить перечисленные выше! Нуждаются люди в месте для молитвы и в призывах внять слову Господа? Тогда незачем шлифовать колонны и украшать резьбой кафедру проповедника: давайте ограничимся простыми стенами и крышей над головой. Нуждаются люди в домашних проповедях и в хлебе насущном? Тогда нам потребны священники и пастыри, но не архитекторы. Я настаиваю на этом, молю об этом; но давайте пристально заглянем в себя: есть ли у нас действительные основания для медлительности с делом, требующим меньшего труда? Вопрос не в выборе между домом Господа и Его бедняками, но между домом Господа и Его Евангелием. Этот выбор — между домом Господа и нашим собственным. Разве нет у нас полов из цветной мозаики? Причудливых фресок на потолках? Изваяний, помещенных в коридорные ниши? Позолоченной мебели в жилых комнатах? Драгоценных камней в горках? Но была ли хотя бы десятая часть этого богатства принесена в жертву? Все это — знаки (или таковыми они должны быть) достаточной меры богатства, уделенного великим целям человеческой деятельности, остаток которого возможно потратить на предметы роскоши, однако помимо эгоистического наслаждения роскошью существует и другое, более величественное и похвальное, а именно — способность поставить некую долю этого богатства на службу священным целям, принести ее в память\* того, что как наше удовольствие, так и наш труд освящены воспоминанием о Нем, давшем нам и силы, и воздаяние. До тех пор пока это не будет осуществлено, мне неясно, как можно владеть подобной собственностью со спокойной душой. Мне непонятно стремление, побуждающее перекрывать аркой вход в наши дома и мостить крыльцо, оставляя в церкви узкие двери и стертый подошвами порог; стремление украшать наши жилища всевозможными дорогостоящими вещами и вместе с тем мириться с голыми стенами и скудным убранством храма. Делать столь суровый выбор приходится нечасто, нечасто требуется и столь большое самоотвержение. Встречаются особые случаи, когда душевное равновесие и умственная активность человека зависят от определенного уровня роскоши в его домашней обстановке, но тогда это подлинная роскошь,

\* Числ. 31: 54; Пс. 76: 12. — *Примеч. авт.*

которая приносит чувственное наслаждение и хорошо окупается. Во множестве других примеров ни о роскоши, ни о наслаждении ею речь не идет: обычные ресурсы среднеобеспеченного человека не позволяют никаких излишеств, а доступные блага удовольствия не доставляют, и без них вполне можно обойтись. В нижеследующих главах будет показано, что я вовсе не ратую за убожество частных жилищ. Я с радостью придал бы им всяческое великолепие, красоту и ухоженность, где только это возможно; однако отвергаю бесполезные траты на никем не замечаемые ухищрения и прикрасы: потолки с карнизами и двери с имитацией дорогих пород дерева; занавеси, отделанные бахромой, — и тысячи подобных ненужностей; эти предметы вздорным и бессмысленным образом сделались привычными; от их повседневного использования зависит существование целого ряда ремесел, но сами они не доставляли ни единого проблеска радости и не влекли за собой даже малейшей надобности; стоящие половину жизненных трат, они лишают жизнь огромной доли комфорта, мужественности, респектабельности, свежести и удобства. Говорю, опираясь на собственный опыт: я знаю, что значит жить в хижине с деревянным полом и дощатой крышей и с очагом из слюдяных плит, и уверен, что такая жизнь во многих отношениях гораздо здоровее и счастливее, нежели жизнь между турецким ковром и позолоченным потолком, близ каминной решетки из полированной стали. Не возьмусь утверждать, будто эти предметы обихода всегда неуместны и неправомерны, однако хочу настойчиво подчеркнуть, что десятой части расходов на тщеславные домашние причуды, порой совершенно бессмысленно потраченных на дополнительные неудобства, оказалось бы достаточно для строительства на общие взносы церквей из мрамора во всех городах Англии; такая церковь, радуя взоры даже случайных прохожих, озабоченных повседневными делами, даровала бы благодать и всем, кто только ее завидит, когда возвышалась бы она над скромными крышами, крытыми красной черепицей.

VIII. Я сказал: во всех городах, но я вовсе не призываю строить церкви из мрамора в каждой деревушке; для меня построение богатой церкви — вовсе не самоцель; мне важен духовный порыв, побуждающий ее строить. Церковь совершенно не нуждается в какой бы то ни было внешней пышности: ее сила не в пышности, — напротив, незапятнанная чистота церкви в определенной степени ей противоположна. Простота приходского алтаря притягательнее величия городского храма, и едва ли это величие могло когда-либо

способствовать росту благочестия, однако для строителей храма оно, несомненно, было и впредь будет таковым. Не сама церковь нам потребна, но жертва; не восхищение, но поклонение; не получение дара, но дарение<sup>2</sup>. Вдумайтесь, насколько уяснение этой мысли способно стимулировать благотворительность со стороны лиц, придерживающихся противоположных убеждений, и насколько больше благородства в самой работе. Нет ни малейшей нужды оскорблять взор назойливой, самодовольной роскошью. Изваять пару колонн из порфира, стоимость которого понятна только тем, кто захотел использовать его именно с этой целью; потратить месяц-другой дополнительного труда на отделку капителей, чью изысканность едва ли заметит и оценит по достоинству хотя бы один из десяти тысяч; проследить, чтобы обычная каменная кладка была безупречна и основательна, — для тех, кто способен все это увидеть, этого окажется достаточно, во всяком случае, не будет оскорблять их чувств. Не следует считать такие чувства причудой, а сам поступок бесцельным. Какую пользу принесла дорого купленная вода из Вифлеемского колодца, которой царь Израиля увлажнил прах Одоллама? Но разве лучше было бы, если бы он ее выпил? Какая польза была в пылкой жертве христианки, осуждение которой, впервые произнесенное лживым языком, мы ныне отвергаем как несущее в себе зловещее предзнаменование?\*

Посему не станем задаваться вопросом, какую пользу принесет церкви наше подношение: для нас в любом случае оно лучше, нежели если бы мы сохранили его для себя. Оно может стать благом и для других, — по крайней мере, вероятность этого сохраняется, хотя мы всячески и со страхом должны гнать прочь даже мысль, что великолепие храма способно существенно повлиять на выгоды от нашего поклонения и силу молитвы. Что бы мы ни предпринимали и какие жертвы ни предлагали бы, пусть сохранится простота первого и не умалится пылкость второй. В том-то и состоит извращенное заблуждение католицизма, прямо противоречащее истинному духу христианского жертвоприношения. Преимущественная задача папистского храма — показательная демонстрация: самоцельная отделка наружного вида; вред и опасность католического церковного убранства заключаются не в нем самом, не в его богатстве и не в искусстве его исполнения, о которых низшие сословия просто не подозревают, но в помпезности и мишурности, в позолоте святынь и раскрашенно-

\* Ин. 12: 5. — *Примеч. авт.*

сти статуй, в пышно расшитых выцветших одеяниях и скоплении поддельных драгоценностей; все это часто выдвигается в центр внимания ради сокрытия действительных достоинств и величия церковных сооружений<sup>3</sup>. О приношении благодарности, вовсе не показном, за какое не ждут награды, не рассчитывают снискать хвалу или купить спасение, католик и понятия не имеет.

IX. Хотя я, разумеется, особенно настоятельно отвергаю приписывание жертве какой-либо пригодности или полезности помимо той, какой она обладает в силу самого духовного порыва, его вдохновившего, стоит отметить и побочную выгоду, неизменно сопровождающую почтительное следование любому высокому принципу. Начатки плодов требовались от иудея как доказательство его верности, однако приношение таковых тем не менее всегда вознаграждалось умножением его урожая. Обеспеченность, долгая жизнь, спокойствие — вот что становилось обещанной и достоверной наградой за жертву, хотя получение этих благ отнюдь не являлось целью таковой. Десятина, вносимая в житницу, была непременным условием благоденствия, которое едва ли можно измерить. И так должно быть вовек: Бог никогда не забывает приношений любви, и какими бы ни были плоды усилий и трудов, от которых Ему жертвовались первые и лучшие доли, Он увеличит и умножит их семикратно. Итак, хотя религия и не нуждается в искусстве, само это искусство никогда не достигнет расцвета, если изначально не посвятит себя Божественному служению — как со стороны архитектора, так и нанимателя: первого — посредством ревностного, скрупулезного, любовно разработанного проекта; второго — готовностью на затраты, по крайней мере более щедрые, чем при тратах на собственные нужды. Давайте же раз и навсегда четко усвоим этот принцип: как бы его ни пытались отвергать, сколь бы слабо ни сказывался он на практике, насколько ни умалялась бы его святость противодействием тщеславия и эгоизма, его признание само по себе несет награду, а изобилие средств и богатство интеллекта, коими мы ныне располагаем, придадут искусству новый стимул и воодушевят его силу и жизненность, неведомые нам с тринадцатого столетия. Все это, как я убежден, не может являться ничем иным, как только самым естественным следствием: когда возвышенные духовные силы применены мудро и в религиозных целях, они не могут не дать большую отдачу; попросту говоря, этот принцип надежен; он естественным образом вытекает из подчинения двум главным условиям, к коим обязывает Дух Жертвы: первое — в любом

деле необходимо делать все от тебя зависящее; второе — зримые свидетельства труда, вложенного в постройку, умножают его красоту. Вот несколько практических выводов из сказанного.

Х. Касательно первого: для достижения успеха одного этого условия достаточно, и неудачи постоянно нас сопровождают именно потому, что мы им пренебрегаем. Среди нас нет настолько хороших архитекторов, чтобы привычно работать ниже своих возможностей, однако из известных мне зданий, возведенных недавно, нет ни одного, где и архитектор, и строители выложились бы сполна. Это отличительная особенность современного труда. Почти всякая работа в старину была тяжелой. Тяжко трудились дети, варвары, сельские жители, но трудились они всегда с наибольшим напряжением сил. Мы же то и дело работаем с оглядкой на денежную выгоду, готовые при первой же возможности сложить руки, вяло миримся с низкими требованиями, не прилагая особых усилий. Давайте немедленно покончим с подобной работой: отбросим малейшие попытки поддаться соблазну, не позволим себе впасть в добровольную деградацию, а затем невнятно сокрушаться о своих недостатках; давайте открыто сознаемся в собственной бедности или скарденности, но не станем возводить клевету на человеческий интеллект. Вопрос даже не в том, *сколько* должны мы сделать, а в том, чтобы делать лучше. Не будем украшать потолки жалкими, грубо вырезанными розетками с тупыми краями, не будем ставить по обеим сторонам ворот жалкие имитации средневековых скульптур. Такие поделки только оскорбляют здравый смысл и лишают нас способности ощутить благородство прообразов. Положим, на украшение дома предстоит потратить столько-то и столько-то: обратимся к какому-нибудь современному Флакману, предложим ему высечь для нас статую, изготовить фриз или капитель — в том количестве, какое позволят нам наши средства, поставив перед ним единственное условие: чтобы они были лучшим творением его рук; поместим эти произведения искусства там, где они будут иметь наибольшую ценность, и этим удовлетворимся. Пусть прочие капители останутся простыми блоками, а прочие ниши будут пустовать. Это несущественно: лучше оставить работу незавершенной, нежели законченной, но плохо. Возможно, что столь изысканные украшения нежелательны: изберем в таком случае менее совершенный стиль, а равно и, если угодно, материал поглубже; провозглашаемое нами правило сводится к требованию выбирать лучшее из любой разновидности:

вместо фриза и статуй Флаксмана отдайте, скажем, предпочтение норманнской резьбе, но пусть эта резьба будет совершенной; если мрамор вам не по средствам, используйте канский камень, однако из наилучшего пласта; если не камень, то кирпич, однако отборный кирпич; всегда предпочитайте лучшее из более простого материала или работы плохому из дорогого материала и дорогой работы, поскольку это не только способ достичь совершенства в любой работе и из любого материала, но это будет и честнее, и скромнее, а кроме того, это соответствовало бы прочим справедливым, прямым и мужественным принципам, применение которых мы рассмотрим ниже.

XI. Мы отметили и еще одно условие: высоко ценятся зримые свидетельства того, что в архитектуру вложен немалый труд. Мне уже приходилось говорить об этом ранее\*: тут таится один из главных источников удовольствия, даруемого архитектурой, хотя это удовольствие имеет и свои границы. Нелегко сразу объяснить, почему напрасно потраченная работа с ценным материалом не вызывает у нас ощущения ошибки, но видеть бесцельную трату усилий мастера всегда тяжело. Тем не менее это так: драгоценные материалы могут без счета применяться ради вящего великолепия мало кому видимых сооружений и их частей, но пустой расход человеческого труда воспринимается как нарушение божеских законов; поделиться драгоценным материалом во имя высокой цели иной раз бывает и полезно, а вот тратить бесцельно Божественный дар творческого созидания противно замыслу Творца. Равновесие между духовными усилиями, с одной стороны, и бесплодным их расточением — с другой, вызывает больше вопросов, нежели ответов, если рассматривать их со всей справедливостью и осмотрительностью. Вообще нас задает не столько бесплодная трата усилий, сколько недомыслие, к ней ведущее; так, мы довольно терпимы к тем случаям, когда, работая ради самой работы, люди делают это вполне сознательно, а не потому, что не знают, как привлечь к ней чье-то внимание. Наоборот: мы испытываем удовольствие, если усилия тратятся из принципа или с целью избежать обмана. Этот закон, вообще-то, следовало бы отнести к другой части нашего исследования, однако нам, вероятно, будет позволено отметить уже сейчас следующее: если некоторые части строящегося здания, скрытые от глаз, являются продолжением других, видимых частей и вдоль

---

\* Современные художники. Часть I, раздел I, глава 3. — *Примеч. авт.*

этих последних тянется орнамент, то было бы нехорошо не распространить этот орнамент на скрытые элементы; поступить так значило бы обмануть доверие; это касается, например, задней стороны статуи, установленной на фронто́н храма: возможно, никто и никогда не увидит ее, но оставить отделку этой части незавершенной было бы противно правилам. То же относится к орнаменту в темных или потаенных местах, где лучше сделать лишнее, чем недоделать, и к поясам, идущим по кругу, и к прочим протяженным деталям; это не значит, что орнамент нельзя оборвать, если он устремляется в недоступный угол, но тогда пусть он будет оборван смело и откровенно, каким-нибудь отчетливым завершением, без намеков на то, что он существует там, где его на самом деле нет. Трансепты Руанского собора увенчаны по бокам башнями, и в пазухах свода там имеются розетки с трех видимых сторон, но не с той, которая обращена к крыше. Правомерно ли это — вот вопрос, который имеет смысл обдумать.

XII. Доступность для зрения, однако, зависит, как следует помнить, не только от местоположения, но и от расстояния: самым прискорбным и неразумным образом труд архитектора теряется именно вследствие чрезмерно утонченной проработки деталей, слишком далеко отстоящих от глаз. Здесь, впрочем, также следует руководствоваться принципом добросовестности: орнамент, который, возможно, предназначен для украшения здания в целом, нельзя отделять скрупулезно там, где он на виду, и небрежно там, где он не виден. Это жульничество и бесчестность. Обдумайте сначала какие архитектурные украшения будут выигрышно выглядеть издали, а какие вблизи, и распределите их соответственно: более изысканные по своему характеру — ниже, перед глазами; другие — поглубже и примитивнее — поместите наверх; если же некой их разновидности предстоит находиться и близко, и на расстоянии, позаботьтесь об отделке — равно грубой и примитивной в обоих случаях, дабы зритель имел четкое представление о том, что она такое и чего стоит. Так, клетчатый орнамент — и вообще орнамент, сильный для заурядного работника, — может простира́ться на все здание, однако барельефы, тонкую пластику в нишах и капители следует располагать внизу: здоровый подход всегда придаст постройке нужные достоинства, даже при определенной неловкости и неуклюжести исполнения. К примеру, в церкви Сан-Дзено в Вероне барельефы, очень уместные и исполненные значимости, со-

средоточены внутри параллелограмма на фасаде, достигая капителей колонн портика. Выше мы видим простую, но в высшей степени очаровательную аркадку, а над ней — только глухую стену с прямоугольными пилястрами. Общее впечатление намного величественней и выгодней, чем если бы весь фасад был изукрашен грубой резьбой и мог бы служить примером того, как обходятся малым там, где нельзя позволить многое. Опять-таки, порталы трансепта в Руане\* обрамлены изощренными барельефами (о которых я буду говорить подробно ниже), возвышающимися примерно до полуторакратного человеческого роста, а выше находятся обычные и хорошо различимые статуи и ниши. То же самое во флорентийской кампаниле: замкнутая цепь барельефов на самом нижнем ярусе, над ними — статуи, а еще выше — узорная мозаика и витые колонны, законченно совершенные, как и всё в итальянском искусстве того времени, но тем не менее в глазах флорентийца — неотделанные и грубые в сравнении с барельефами. Наиболее утонченно отделанные ниши и лучшие лепные украшения французской готики располагаются, как правило, на порталах и невысоко поднятых над землей окнах, хорошо доступных глазу; хотя, поскольку самой сутью этого стиля являлся расчет на эффект, достигаемый благодаря избыточности, подчас наблюдается устремленность ввысь, в небо, как на фронте западного фасада Руана и в углублении круглого окна-розы за ним, где помещены весьма изощренные лепные украшения в виде цветов, едва видимые снизу и лишь усиливающие игру теней, придающих контрастность выдвинутому вперед фронту. Примечательно, однако, что изделия эти представляют собой образец дурной пламенеющей готики и обладают извращенными, характерными для Ренессанса признаками как в работе над деталями, так и в самом их применении; тогда как построенные ранее и более величественные северный и южный входы отличаются благородством отделки: ниши и статуи, венчающие северный вход на высоте приблизительно сотни футов от земли, равно грандиозны и незамысловаты при взгляде снизу, но и наверху они отделаны добросовестно и полноценно; очертания их прекрасны, предельно выразительны и столь же искусно доведены до совершенства, как всякое произведение искусства того времени.

---

\* Здесь и далее, удобства ради, под аналогичным наименованием города позвольте мне подразумевать находящийся в нем кафедральный собор. — *Примеч. авт.*

XIII. Необходимо, впрочем, помнить, что, хотя украшения каждого старинного здания (насколько мне известно, исключений здесь нет) у цоколя имеют самую тщательную отделку, в верхних частях их часто еще больше. В высоких башнях это совершенно естественно и правомерно: целостность основания здесь так же обязательна, как и расчлененность и проницаемость надстройки; отсюда большая легкость и ажурность позднеготических башен. Уже упоминавшаяся колокольня Джотто во Флоренции — великолепный пример единства этих принципов: утонченные барельефы украшают массивный фундамент, тогда как сквозное кружево верхних окон привлекает взгляд изысканной затейливостью, а все здание увенчано роскошным карнизом. Во всех подобных случаях, когда размещение выполнено удачно, отделка верхней части здания хорошо выглядит благодаря изобилию и затейливости, нижние же части — изысканности; именно так обстоит дело в руанской Тур-де-Бёр, где, впрочем, детали всюду массивны, однако по мере подъема вверх делаются все более расчлененными. Этот принцип нельзя применять с той же уверенностью для главных объемов зданий, однако разбор его выходит за рамки нашей темы.

XIV. Наконец, работа может оказаться растроченной впустую потому, что либо слишком хороша для выбранного материала, либо слишком тонко исполнена и пригодна только для интерьера, что стало, начиная с Ренессанса, вероятно, одним из худших недостатков современных зданий. Не знаю ничего более тягостного и прискорбного, нежели резьба из слоновой кости, которой инкрустированы *Certosa* в Павии и часовня склепа Коллеоне в Бергамо, думать о которой утомительно и даже просто смотреть на нее мучительно. Причиной тому — не изобилие и не скверное исполнение, напротив, оно искусно и изобретательно: нет, вид у этой резьбы такой, словно она пригодна лишь для хранения не то в инкрустированных деревянных ларцах, не то в выложенных бархатом шкатулках и не способна выдержать ни ливня, ни заморозка. Мы боимся за нее и чувствуем, что массивная колонна, рельефная тень удачно заменили бы всю эту роскошь. Тем не менее даже в подобных случаях многое зависит от того, насколько архитектурная отделка достигает своей цели. Если это действительно *украшение* и возникающая благодаря ему светотень влияет на общий эффект, нас не покоробит открытие, что скульптор от избытка фантазии не ограничился просто бликами, а скомпоновал из них группы фигур. Но если украшение себя не оправдывает, не способно действовать на расстоянии,



*1. Орнаменты из Руана, Сен-Ло и Венеции*

если при беглом взгляде оно кажется просто ни о чем не говорящей неровностью поверхности, то мы лишь расстроимся, когда, подойдя поближе, обнаружим, что оно стоило не одного года труда, изображает великое множество фигур и историй и было бы лучше рассматривать его через лупу Стенхопа. В том и заключается величие северной готики по сравнению с поздней итальянской. Она достигает почти такой же степени детализации, не упуская собственного архитектурного смысла, никогда не утрачивает декоративной силы: даже крохотный листок в ней много говорит взгляду, в том числе и на большом расстоянии; а раз так, то не существует ограничений для роскошеств, в которых подобная работа может быть и оправданной, и уместной.

XV. Никаких границ: архитекторы любят говорить о перегруженности украшений деталями. Если украшения хороши, они не вызывают чувства избыточности; если плохи — всегда излишни. Привожу на соседней странице (рис. I, 1) изображение одной из самых малых ниш центрального портала Руана. Этот портал я считаю наиболее совершенным образцом пламенеющего стиля из числа существующих; хотя я вижу в верхней части, в особенности в заглубленном окне, свидетельства упадка, сам портал относится к периоду, свободному от губительного влияния Ренессанса. По обеим сторонам крыльца расположены четыре ряда ниш (каждая с двумя фигурами внизу) высотой от земли до верха арки, с двумя промежуточными рядами ниш большего размера и гораздо более проработанных; кроме того, здесь расположены шесть балдахинов на каждом из внешних столбов. Общее число одних только второстепенных ниш, каждая из которых проработана так, как показано на рисунке, причем в каждом отделении каждой из них представлен различный образчик ажурного узора, составляет сто семьдесят шесть<sup>4</sup>. И однако во всем этом орнаменте не найти ни единого выступа, ни единого флерона, которые были бы ничемны, ни единого напрасного взмаха резца; изящество и роскошь целого очевидны — точнее, осмысленны — даже для праздного взора; и вся эта предельная скрупулезность нисколько не умаляет величественности, разве что усугубляя тайну прекрасного нерасчлененного свода. Уместность украшений не может служить предметом гордости для одного стиля, как для другого — отсутствие необходимости в них; однако мы не слишком часто задумываемся над тем, что эти самые стили, преимущество которых считается показная простота, столь привлекательны благодаря контрасту, а став универсаль-

ными, наводили бы уныние. Эти стили — скучная повседневность искусства: куда более возвышенными и упоительными восторгами мы обязаны прекрасным фасадам с пестрой мозаикой, где теснятся причудливые фантазии, сонмы смутных образов, многочисленной и чудесней которых не рождает ни один сон в летнюю ночь, эти сводчатые порталы, тесно оплетенные листвой, эти окна-лабиринты из витых кружев и звездчатых просветов, эти неясные громады бесчисленных шпилей и увенчанных коронами башен предстают нашим глазам как единственные, быть может, свидетельства веры и благоговейного трепета давних поколений. Все прочее, ради чего строители приносили жертвы, миновало — все их злободневные заботы, цели, достижения. Нам неизвестно, ради чего они трудились, неочевидна для нас полученная ими награда. Победы, богатство, власть, счастье — все исчезло, хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов осталась нам единственная память, единственное их вознаграждение — в виде вот этих серых груд старательно обработанного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои силы, свои почести и свои просчеты, но оставили нам одно — свое поклонение.

## ГЛАВА II

### Светоч Истины

I. Существует явное сходство между нравственностью человека и освещенностью планеты, на которой он живет, — такое же ослабление света по мере отступления к пределам собственных владений, та же существенная удаленность от своей противоположности, тот же неясный сумрак, отделяющий от нее, — не четкая линия, а полоса постепенно сгущающегося мрака, в который погружается мир, — призрачные сумерки души, нейтральная область, где целеустремленность постепенно переходит в фанатизм, умеренность — в нетерпимость, справедливость — в жестокость, вера — в суеверие, и в конце концов все вместе тонет в непроглядной тьме.

Тем не менее, когда сумрак сгущается окончательно, несмотря на смутность и постепенность его наступления, мы можем отметить мгновение заката и, к счастью, можем повернуть тень вспять, заставив ее убывать тем же путем, по которому она надвигалась; но, во-первых, горизонт неровен и неясен, а во-вторых, сам экватор — Истина — это единственная четкая, неразмытая черта, а ее постоянно норовят стереть или проигнорировать, она же и ось земли — облачный столп, тонкая золотая линия, но ее так трудно придерживаться даже тем силам и добродетелям, которые на нее опираются, ее искажают политика и благоразумие, ее затушевывают доброта и любезность, заслоняет своим щитом храбрость, воображение прикрывает своим крылом, а милосердие затуманивает слезами. Как же трудно ей сохранять свое влияние, если, будучи призвана сдерживать все худшее в человеке, она должна также сдерживать и сумбур всего лучшего в нем, тогда как, с одной стороны, ее постоянно попирают, а с другой — от нее отступают, а она с одинаковой строгостью отвергает как малейшее, так и грубейшее нарушение своих установлений. Любовь мирится с недостатками, мудрость терпима к ошибкам, и только истина бескомпромиссна и непогрешима.

Мы же об этом не задумываемся и не боимся понемногу грешить против нее. Ложь мы привыкли замечать только в ее неприглядности, сквозь призму ее худших намерений. Неприятие, которое вызывает у нас ложь, на самом деле относится только ко лжи злонамеренной. Мы осуждаем клевету, лицемерие и предательство, потому что они наносят нам ущерб, а не потому, что они противны истине. Если бы не вред и урон, наносимые ложью, мы ничего не имели бы против нее, а в виде похвалы она нам даже приятна. И все же клевета и предательство — не самое распространенное зло в мире, они доступны разоблачению и ощутимы только после него. А вот любезная и вкрадчивая ложь, сладкая лесть, патриотичная ложь историка, предусмотрительная ложь политика, пламенная ложь фанатика, сострадательная ложь друга, легкомысленный самообман, свойственный любому из нас, — все это набрасывает на человеческую природу непроницаемую темную пелену. И мы благодарим тех, кто помог нам проникнуть к истине сквозь эту пелену, как благодарят того, кто вырыл в пустыне колодец. Ибо, к счастью, несмотря на то, что мы сознательно покинули истоки истины, жажда ее знать все-таки нас не покидает.

Моралисты часто путают два понятия, отличные друг от друга: тяжесть греха и его непростительность. Степень вины зависит, с одной стороны, от характера обманутого человека, а с другой — от последствий обмана. Можно ли простить обман или нет — чисто по-человечески — зависит от того, насколько принуждают к этому обману обстоятельства: одни обстоятельства отягчают степень вины, другие же, наоборот, оправдывают обман. И поскольку людям сложно оценить тяжесть вины, равно как и последствия обмана, они предпочитают не давать подобного рода оценок, а обратиться лучше к другим, более явным преступлениям, совершенным под наименьшим давлением обстоятельств. Я нисколько не намерен преуменьшать вину зловредного и злонамеренного лжеца, умышленно прибегающего к обману в корыстных целях; но все же мне кажется, что кратчайший способ борьбы с наиболее вопиющими формами обмана состоит в том, чтобы внимательнее относиться к тем его проявлениям, которые незаметно и безнаказанно вошли в повседневный обиход. Давайте вообще перестанем лгать. Перестанем оправдывать ложь тем, что она безобидна, или незначительна, или непреднамеренна. Откажемся от нее полностью — от самой ничтожной и случайной; вся она, словно мерзкая копоть из преисподней, оседает в наших сердцах, очистимся от нее, не разбирая,

насколько она черна и отвратительна. Говорить правду — все равно что грамотно писать — этому можно научиться, только постоянно упражняясь; это зависит не столько от желания, сколько от привычки. Говорить правду и поступать по правде постоянно и неотступно — почти так же трудно и так же похвально, как и делать это под страхом наказания; поразительно, сколь многие готовы ради правды жертвовать жизнью и сколь немногие готовы ради нее терпеть хоть малейшие неудобства в повседневной жизни. И, зная, что из всех грехов, пожалуй, нет ни одного, столь противоположного Божественному началу, добродетели и жизни, как ложь, было бы неслыханной дерзостью запятнать себя ложью просто так, без всякого давления обстоятельств. Стать честным человеком — значит решить для себя, что никакие иллюзии или заблуждения, которые навязывает нам неумолимая жизнь, не бросят тень на наши сознательные поступки и не изменят подлинную сущность выбранных нами идеалов.

II. И если вышесказанное справедливо и мудро, когда мы говорим об истине, то тем более это распространяется и на все, что находится под влиянием истины. Я доказывал необходимость проявления Духа Жертвы в отношении человеческих поступков и удовольствий не потому, что это могло бы продвинуть вперед дело религии, но поскольку сами человеческие поступки, безусловно, были бы этим бесконечно облагорожены, и я хотел бы находить Дух или Светоч Истины в сердцах художников и мастеров не потому, что верность истине в искусстве могла бы далеко продвинуть дело истины, но для того, чтобы сами искусства и ремесла преисполнились благородства: поистине поразительно, какая власть и непреложность заключена в одном этом принципе и насколько от следования ему или от его забвения зависит возвышение или упадок любого искусства и любой человеческой личности. Я уже пытался показать влияние и силу Духа Истины в живописи, и, думаю, не одну главу, а целый том можно было бы написать о его значении для величия архитектуры. При этом я вынужден удовольствоваться немногими самыми известными примерами, учитывая, что его проявление легче обнаружить в верности истине, нежели в рассмотрении того, что есть истина.

Но прежде необходимо определить, в чем состоит отличие неправды от художественного вымысла.

III. На первый взгляд все царство воображения есть сплошной обман. Однако это не так: воображение всегда обращается к пред-

метам отсутствующим или несуществующим, именно в их познании и созерцании состоит наслаждение и благородство воображения, то есть в сознании невозможности их фактического присутствия или существования в момент их кажущегося присутствия или существования. Когда воображение нас обманывает, наступает безумие. Воображение остается свойством возвышенным до тех пор, пока оно признает собственную идеальность, а переставая признавать ее, оно превращается в безумие. Вся разница состоит в этом признании, в отсутствии обмана. Обладая духовной сущностью, человек наделен способностью выдумывать и созерцать то, чего на самом деле нет, а обладая сущностью нравственной, он должен в то же время сознать и признавать, что этого на самом деле нет.

IV. Опять-таки, можно считать и считалось, что искусство живописи в целом есть не что иное, как стремление обмануть. Но это не так: напротив, это утверждение определенных фактов наиболее ясным способом. Например: я хочу рассказать о какой-то горе или скале; сначала я стану на словах описывать ее форму. Но слов окажется недостаточно, и я, взяв лист бумаги, попробую ее нарисовать и скажу: «Такова ее форма». Далее: я наверняка постараюсь передать ее цвет, но словами это сделать также не удастся, и я раскрашу рисунок и скажу: «Таков ее цвет». Это может продолжаться до тех пор, пока не возникнет изображение, неотличимое от реального предмета, и видимое присутствие этого предмета доставит нам немалое удовольствие. Это акт воображения, а не обман. Обман может заключаться только в *утверждении* действительного присутствия (которое никогда ни на миг не допускается, не подразумевается и не принимается на веру) или в неправильной передаче формы и цвета (что, увы, нередко происходит и вводит нас в заблуждение). Заметим также, что обман сам по себе — явление столь разрушительное, что всякая живопись, достигая буквального воспроизведения реальности, начинает деградировать. Я уделил этому внимание в другом месте.

V. Нарушение истины, унижающее поэзию и живопись, по большей части может быть сведено к трактовке предмета. В архитектуре же возможно другое, более явное, более предосудительное попрание истины — прямой подлог, касающийся природы материала или количества затраченного труда. Речь идет о неправде в полном смысле этого слова, которая так же заслуживает осуждения, как любая безнравственность; она одинаково не достойна как архитекторов, так и наций; и повсюду, где бы она ни была распространена